

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет»
Филологический факультет
Кафедра истории и теории литературы

Юность как сюжет

Тверь
2019

УДК 821.161.6.09(082)
ББК Ш5(2+411.2)-34
Ю 43

Ю 43 Юность как сюжет: Статьи и материалы /
Ред.—сост. С.А. Васильева, А.Ю. Сорочан. — Тверь:
Издательство Марины Батасовой, 2019. — 336 с.
(Время как сюжет; Вып. 7).

В издание включены статьи и сообщения, посвященные анализу сюжетного потенциала времени в литературе и искусстве. В центре внимания участников проекта — различные модели «юности», художественные формы воплощения индивидуального времени.

ISBN 978-5-6040897-5-0

© Авторы статей, 2019

© Издательство Марины Батасовой, 2019

**СКВОЗЬ ГЕОПОЭТИЧЕСКУЮ ЮНОСТЬ:
ПРОЗА ТАТЬЯНЫ ХОФМАН КАК
«ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ» ИЗ ДЕТСТВА В ДЕТСТВО**

Эмиграция «на буксире родителей» из Севастополя в Берлин привела к потере Крыма как детства. Попытка сохранить идентичность посредством детских шалостей, переодеваний в турчанок, пресеклась преследованием настоящих турок. Более успешным оказалось переодевание героини этого *саморомана* в новый язык. Целостное видение с высоты севастопольской лоджии удалось восстановить с обретением аналогичного балкона в Швейцарии с видом на Женевское озеро, с повторным приобщением к детству через сына. «Вечное возвращение» в романе Т. Хофман «Севастопология», словами М. Элиаде, заключается «в удалении значения истории». Сюжетно же роман сопоставим с его повестью «Без юности юность».

Ключевые слова: идентификация, разрыв, история, русскость, Крым, гендерная принадлежность.

Татьяна Хофманн швейцарский филолог крымского происхождения и немецкой выучки, защитила диссертацию по современной украинской литературе. В своей новой, написанной уже по внутреннему импульсу, книге «Севастопология» она, подобно герою гоголевский «Шинели», испытывавшему однажды странные ощущения местонахождения то ли на середине строки, то ли на середине улицы, отождествляет свое состояние с пребыванием в работах современного немецкого историка Карла Шлегеля, переизобретающего новые восточно-европейские реалии. Однако, в отличие от нарастающего глобального гносеологического удивления старшего коллеги, кочующего по влюбленностям в ту или иную территорию, для неё это постижение изнутри тесно связано с перипетиями своей собственной идентичности. И «это *недослово* эпохи, бьётся в жилах, бренди-иденти».

Как связно и линейно пересказать эти словесные метаморфозы, изначально написанные на немецком языке и превращенные (возвращенные?) в явление русской литературы переводческими стараниями Татьяны Набатниковой, во взаимодействии с редактором Игорем Клехом, обычной критической прозой? Вот автор (героиня текста?) — как бы проветривает подушки, встряхивает внутренние монологи, логово языков и пейзажей, пытается с нынешней высоты своего жизненного и профессионального опыта попробовать каравая, аналогичного продукции современного производителя десертов-дессеминаций Хоми Баба (нынешний властитель мировых семиотических дум, полный тезка отца индийской атомной бомбы), «только скорее на деле — не примыкая к нему и не опираясь на него, а просто — как *hoto баба*»¹.

Первые десять лет автор взирала на Крым и мир с высот маленького балкона севастопольской двухкомнатной квартиры, который выходил на крышу магазина «Буревестник», сокращённо «Бурик». Такое название, обозначая возвещающую своим низким полетом над водой бурю птицы, напоминало также «буряк», украинское обозначение свёклы, важнейшего ингредиент украинско-русско-белорусского борща. Конечно, это уже позднейшая словообразная игра. Детство — время буквальных (безбуквенных) шалостей, когда тянет бросаться в мальчишек арбузными корками, прячась за балконным бортиком, в ситуации обливной войны с ними на улице. «Я бушевала у штурвала каникул в уверенности, что лето за летом до самой смерти ветер будет веять именно так. Нам не надо было никакого видео от MTV»².

Но вот времена холодной войны, когда «лишняя тренировка не повредит», пусть и в игровой форме, сменились Перестройкой, которая тоже «походила на войну, кому-то становилось жарко от безысходности тоски». Состоялось знакомство по телевизору с Горбачевым. «Когда мне было пять лет, мне казалось, что он обращается ко мне напря-

¹ Хофман Т. Севастопология / Пер. Т. Набатниковой. СПб.: Алетея, 2017. С. 9.

² Хофман Т. Севастопология. С. 97–98.

мую: он подчёркивал значение *пятилетки*. От неё, дескать, зависит будущее Советского Союза, повторял он. Потом мне исполнилось шесть лет. Пала берлинская стена... Мать на мой вопрос, что означает *перестройка*, отвечала: пустые полки»¹.

Когда в восемь или девять лет ты занносишь историю города в тетрадь в клеточку — десятилетие за десятилетием, войну за войной, одно число жертв за другим, — а на полях рисуешь косички, чтобы лучше сконцентрироваться; когда ты перед следующим уроком проходишь каждое пушечное слово, прогрохотавшее на бумагу из этого массива, словно чётки, когда ты по несколько раз перечитываешь и учишься воспроизводить это более или менее наизусть, то всю твою жизнь ты будешь жить в плену этого слоя абстрактного страдания, подкормленной гордости и победно-торжественно-скорбного чувства, в центре старого доброго черноморского мира. Ведь добровольно, нет? Ты точно такой же его инвентарь, как и он — твоя кулиса, без таких людей, как ты, он бы рухнул, ты несёшь его с собой и вовне. А что касается героев, тут у тебя дыхание пресекается оттого, как храбро они сражались, эти притягательные мамонты в мавзолее урока истории»².

Образ учителя истории невольно перекликается с учителем военного дела в фильме Андрея Тарковского «Зеркало», который под маскировкой внешней суровости «состоит на службе любви, каждым сантиметром своего импозантного роста». «Он подводит тебя к купели местного патриотизма — и в ней же тебя топит. Нет, он крестит класс, чтобы тот верил ему, невзирая на урчащие пустые желудки 90-х годов и на бизнес — и жизненные цели, позднее сделавшие полкласса созревшими покинуть город, страну, не подходящую городу, не подходящую новой Украине погибшую Советскую Россию, не подходящую старому Крыму имперскую шумиху, весь тот набор долгосоветских и примитивно-антисоветских отношений, этот «конструктор» из никогда не поддающихся сборке кубиков Рубика.

¹ Хофман Т. Севастопология. С. 105.

² Хофман Т. Севастопология. С. 23–24.

Массово покидал, но никогда не забывал»¹. Он не мог ни-
чему помешать, пришло время имперской крымской шу-
михи (*крыматория*).

Родители опознаются как «подлинные герои Советского
Союза с дополнительными отличиями героев Перестройки
и послеповоротного сёрфинга на волнах волнений и воли». Однако с распадом СССР пришло время «индикатора со-
ветосемитизма», до которого раньше было не дотянуться и
при помощи балконной табуретки. Он был востребованне
ради каких-то корней, а ради будущего детей. «Мои роди-
тели улета́ли как жертвы Чернобыля, которые бросали ха-
ту на произвол судьбы, в уверенности, что где-то в дру-
гом месте есть среда получше для развития их детей».

Радикальность разрыва проявилась в стремлении изба-
виться от самого образа прошлого, т.е. сожжения фото-
графий. Под раздачу попали и детские игрушки — пласт-
массовый волк, который вовсе не был таким злым, как
волк из *Ну, погоди!*, не говоря уж об американском Томи.
«Родителям, наверное, было так же, когда все их сбереже-
ния в один прекрасный день пропали в банке». Впрочем,
именно ребенок додумался приспособить голову одной
ущелевшей куклы для провоза драгоценностей матери.

«Поезд стучал колёсами, потом застрочил немецкий
язык, потом я заговорила на нём, ломаном, потом получи-
ла по нему отлично и много завистников». Эмиграция «на
буксире родителей в Берлин» привела к потере Крыма как
детства — «так ведь и люди, оставшиеся там, лишились
его тоже. Потому что пришла пора Украины».

Берлин на таком сломе вовсе не показался землей обе-
тованной. Уже с новыми подругами, с которыми разгова-
ривали по-немецки, но мыслили «обрусело», устраивались
состязания в метании банановой кожуры через голову на-
зад, которые сменились переодевались в турчанок при
помощи платков и длинных юбок, проверяя на своём теле
узкие границы толерантности, пока не пристал «настоя-
щий турок». Такое «диссидентское» настроение по отноше-
нию к школе и собственной юности, «с которой не знали,
куда деваться» своего рода стихийный концептуализм,

¹ Хофман Т. Севастопология. С. 145.

среди открытых акций которого выделялось сознательное «заблуждение» в совсем незнакомом районе мало знакомого мегаполиса .

При всей не любви к немецкому языку, «флирт» с ним, аналогом детских игрушек, удался, в нем заблудится не пришлось. «Мой немецкий, созданный из переводных английских и французских приключенческих книг, подражал окружающему немецкому языку — за исключением того предательского факта, что я слишком часто рассказывала о морских битвах и не говорила на берлинском диалекте». И вот уже будущая родственница опознает у собеседницы «типично тюрингский акцент», тогда как местность напоминает территорию гаражей в Севастополе. Началось «свободное падение вытесненного родного языка», в котором, «сколько ни ищи родины», «она уже слиняла». Опять «двойка-тройка-семерка-туз» от *Германа-Розанова*, не удержусь, чтобы не включиться в игру, хотя и не желая уподобиться приставучему турку.

После двадцати лет в Берлине с неизбежными вопросами-«наездами» — *весси* ли ты или *осси*, русская ли, украинка или берлинка, а то и вовсе понаехавшая, овладения языком и принципами немецкой славистики в берлинском университете им. Гумбольдов, с промежуточным увлечением живописью и рождением сына, городом трудоустройства и обретения себя стал швейцарский Цюрих «мой *Zur_ich*, к себе». К осознанию и оправданию языковой и мнемонической тре(ё?)панации. «Мне и нужна утраченная память, мне нельзя помнить себя полностью, иначе будет запечатан источник желания вспоминать. Боязнь, что вытесненное будет жить собственной жизнью и однажды нанесёт ответный удар из универсума, и страх утонуть, оказаться заведённой не туда, подвергнутой воспоминанию обгоняют друг друга. Я жду, когда память сама даст о себе знать, когда она распрямится во весь рост, отчеканятся её оттиски и впечатления, её чтимые и читаемые следы. До тех пор, пока она не испарится»¹.

Наконец, благодаря «логическому» слиянию обоих «лоджий», севастопольской и швейцарской (вторая часть сло-

¹ *Хофман Т.* Севастопология. С. 15.

восочетания «севастопология» по-немецки имеет оба смысла, и это, кажется, единственная неизбежная переводческая потеря), был создан единый экран видения, придающего облик «травмам, как и мечтам». Воды Цюрихского озера, на берегах которого мелькают тени Набокова, Розалии Шерцер, Целана, перетекают в волны Черного моря, и Крым вновь «бросается на тебя как ликующий пёс, смахивая хвостом даль знакомства», как «хороший читатель» из набоковского эссе «Хорошие писатели и хорошие читатели».

Что же теперь говорит *город-герой*? «Что он сопротивлялся остальному миру на 200 лет дольше, чем я? Что русский мир в касках возвращает его естественным образом в русскость, что он сияет в своём историческом и культурном превосходстве даже и не по-русски, дополняя северное сияние. Пёстрый букет — без которого не может быть накрыт ни один торжественный праздничный русский стол. Как-то так. Я спрашиваю себя, в моей детской наивности, которую я не могу стряхнуть с себя, разве что иногда в *sophisticated German*, но и здесь лишь так себе, как русские солдаты были замаскированы в Крыму, я спрашиваю себя в экзистенциальном непонимании, что теперь означает «русское» для других и для меня. Я могу постичь это меньше, чем украинское, с которым я эмоционально дохожу до границы, так сказать, внутренней, личной границы приличия и дистанции»¹.

В какой-то мере эта попытка удержать идентичность между геопоэтикой и геополитикой напоминает героев постдеревенской прозы Василия Шушина, стоящих одной ногой на берегу, другой на отплывающей лодке, при всей разнице содержания отъездов и привнесения теперь «наездов» языковых. «Русскому, каким я его знала, я давно разучилась, онемечилась и обозначаю это ещё раз: я впустила в свою взрослую жизнь этого захватчика, базирующегося в родном порту, только с рождением моего сына — не в последнюю очередь со словами вежливости. В качестве доброго *зелёного человечка*, который из отчуждения

¹ Хофман Т. Севастопология. С. 25.

всего вокруг превратился в единственно собственное»¹. Вот он, *единственный* и его достояние в свете гендерной и ювенальной революции, взаимной педагогики, «геополитической катастрофы» и языковой игры.

«Я не заступница ни России, ни Украины, я вообще не понимаю больше ни ту, ни другую страну, хотя и пытаюсь о них иногда робко высказаться. Я защищаю мою крымскую мистерию, мой вольный Крым, мои крымские свободы, Krimfreiheiten, фр-кр и кр-фр. Франция? Creme fraiche? Кефир? Сметана! Немножко. Мы обмазывались сметаной после солнечных ожогов, и этот великолепный послезагарный лосьон обтекал мою кожу и изменял моё нутро, вместе с тогдашним солнечным блаженством, так сказать: матросская татуировка сплошняком Я ручаюсь за согласный перекал гальки и гласные фабулы моря, прибитые к берегу для купания в куплетах описания. За Крым, как он накатывал на меня при возвращении в Цюрих (крымня, забери-меня), нёс меня и захватывал с собой, хотя так и не научил меня плавать, но и не расплылся во мне. Крым, который навывлет меня ранил и подбил на этот текст»².

Спасительная для пересыхающей кожи сметана крымского текста, два детства почти без промежуточной юности, крымнее не бывает...

Подобно автору знаменитого «Острова Крым» Василия Аксенова, Татьяна Хофман испытала свой «Ожог», как назывался параллельный его роман. Однако я бы хотел сопоставить ее художественный дебют с повестью М. Элиаде «Без юности юность». Элиаде извесен более как исследователь мифологии традиционных народов, в частности, автор книги «миф о вечном возвращении».

«При изучении народов на ранней стадии их развития нас прежде всего поразило присущее им негативное отношение к конкретно-историческому времени, их ностальгия по Великому Времени, выраженная в периодическом воскрешении мифического правремени. Смысл и функция того, чему мы дали название «архетипы и воз-

¹ Хофман Т. Севастопология. С. 25–26.

² Хофман Т. Севастопология. С. 19.

врат к прошлому», стали ясны нам только тогда, когда мы осознали стремление этих народов отказаться от конкретного времени, их враждебность к любым попыткам обособить «историю», то есть освободить ее от навязанных архетипами моделей. Однако подобный категорический отказ, подобное противопоставление не являются простым следствием исконного консерватизма первобытных племен, что и доказывает эта книга. Мы полагаем, что в удалении значения истории, то есть события, не имеющих сакрального образца, в отказе от непрерывного мирского времени следует усматривать своего рода повышение метафизической значимости человеческого бытия. Но это возвеличение человека, без сомнения, не имеет ничего общего с тем стремлением возвысить его, которое, после открытия «человека исторического», то есть, человека, чья значимость определяется исключительно степенью его участия в историческом процессе, просматривается в некоторых постгегельянских философских течениях, а именно в марксизме, историцизме и экзистенциализме»¹.

В повести *Элиаде* рассказывается о фантастическом случае с пожилым ученым, в которого ударила молния. Вопреки убеждению врачей, что после такого ожога выжить невозможно, он не только выжил, но начал молодеть.

«От воздействия мощного электрического заряда его умственные способности достигли такого порога, какой человечеству предстоит достигнуть лишь через десятки тысяч лет. Главной характеристикой нового человечества будет иная структура психоментальной жизни: все достижения человеческой мысли, выраженные когда бы то ни было устно или письменно, становятся достоянием индивидуальной памяти с помощью определенного упражнения по концентрации. Собственно, образование будет состоять в обучении методе концентрации под контролем инструкторов.

«Короче, я мутант, — заключил он, проснувшись. — Прообраз постисторического человека»².

¹ *Элиаде М.* Миф о вечном возвращении. М.: Ладомир, 2000. С. 23.

² *Элиаде М.* Под тенью лилий. М.: Энигма, 1996. С. 744–745.

Утром 1 ноября 1947 года он принял решение не вести больше записи по-французски, а прибегнуть к искусственному языку, конструированием которого увлекался в последние месяцы. Особенно его восхищала экстраординарная гибкость грамматики этого языка и бесконечные возможности словаря (он ухитрился ввести в лексикологическую систему коррективу, позаимствованную из теории множеств). Теперь он мог позволить себе описывать парадоксальные, открыто противоречивые ситуации, не поддающиеся выражению на существующих языках.

«Я описывал главным образом последствия анамнеза, расширения памяти — другими словами, ощущения мутанта, который есть прообраз постисторического человека... Вывод напрашивается только один: мои свидетельства адресуются отнюдь не читателю из ближайшего будущего, из двухтысячного, скажем, года. Но тогда — кому?

Можно вчерне ответить так: вследствие ядерных войн, которые грядут, многие цивилизации, и западная в первую очередь, будут уничтожены. Вне сомнения, эти катастрофы нанесут человечеству неведомый дотоле духовный урон, вызовут волну всеобщего пессимизма. Даже если не все оставшиеся в живых поддадутся соблазну покончить с собой, немногие найдут в себе силы поверить в человека и в возможность появления человечества, высшего по сравнению с гомо сапиенс. Если мои свидетельства обнаружат и расшифруют *тогда*, они смогут уравновесить безнадежность и общее желание прекратить человеческий род. Документы, содержащие пример ментальных возможностей человечества, которое зародится в далеком будущем, — эти документы наглядно продемонстрируют реальность постисторического человека.

— Я, как видно, последний оптимист в Европе. Как все, я знаю, что нас ждет: водород, кобальт и прочее. Но, в отличие от других, я пытаюсь отыскать какой-то смысл за этой неизбежной катастрофой — и, следовательно, примириться с ней, как учит старик Гегель. Так вот, провиденциальная цель термоядерной войны — не что иное, как мутация рода человеческого, появление сверхчеловека. Да, я знаю: эти войны сотрут с лица земли целые народы, целые цивилизации и превратят полпланеты в пустыню.

Но такова цена, которую мы должны заплатить за то, чтобы радикально порвать с прошлым и форсировать мутацию, то есть появление высшего человека, по всем статьям неизмеримо превосходящего нынешнего. Только гигантский заряд электричества, который разрядится за несколько часов — или минут, — сможет преобразить психику и разум несчастной породы гомо сапиенс, до сих пор вершившей историю. При безграничных возможностях постисторического человека возрождение цивилизации на планете наверняка пройдет в рекордные сроки. Конечно, выживут только считанные миллионы населения. Но это будут миллионы сверхлюдей. Потому я прибегнул к формуле “эсхатология электричества”. От электричества человек примет и *гибель*, и *спасение*.

Не глядя на него, молодой человек допил свое пиво»¹.

Такова «детская болезнь» постисторизма под воздействием природных и политических стихий в прозе двух ученых-гуманитариев разного возраста и гендерной принадлежности.

Through geopoetic youth: Prose of Tatiana Hoffman as "eternal return" from childhood to childhood

Emigration «in tow of parents» from Sevastopol to Berlin led to the loss of Crimea as a child. An attempt to preserve identity through childish pranks, disguises in Turkish women, was stopped by the persecution of these Turks. More successful was the disguise of the heroine of this samoromana in a new language. A holistic vision from the height of the Sevastopol loggia was restored with finding a similar balcony in Switzerland with a view of Lake Geneva, with a re-introduction to childhood through his son. «Eternal Return» in T. Hoffman's novel «Sevastopolology», in the words of M. Eliade, is «in the removal of the meaning of history». The subject of the novel is comparable to his story «Without youth, youth».

¹ Элиаде М. Под тенью лилий. С. 777 778.

Key words: identification, gap, history, Russianness, Crimea, gender identity.

ОБ АВТОРЕ

ЛЮСЫЙ Александр Павлович кандидат культурологии, доктор филологических наук, профессор Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина (ГИТР).